

Александр Иванович Куприн

# Мирное житие



Александр Куприн

**Мирное житие**

«Public Domain»

1904

## **Куприн А. И.**

Мирное житие / А. И. Куприн — «Public Domain», 1904

«Сдвинув на нос старинные большие очки в серебряной оправе, наклонив набок голову, оттопырив бритые губы и многозначительно двигая вверх и вниз косматыми, сердитыми старческими бровями, Иван Вианорыч Наседкин писал письмо попечителю учебного округа. Почерк у него был круглый, без нажимов, красивый и равнодушный, – такой, каким пишут военные писаря. Буквы сцеплялись одна с другой в слова, точно правильные звенья цепочек разной длины...»

© Куприн А. И., 1904

© Public Domain, 1904

## Александр Иванович Куприн

### Мирное житие

Сдвинув на нос старинные большие очки в серебряной оправе, наклонив набок голову, оттопырив бритые губы и многозначительно двигая вверх и вниз косматыми, сердитыми старческими бровями, Иван Вианорыч Наседкин писал письмо попечителю учебного округа. Почерк у него был круглый, без нажимов, красивый и равнодушный, – такой, каким пишут военные писаря. Буквы сцеплялись одна с другой в слова, точно правильные звенья цепочек разной длины.

«Как человек, некогда близко стоявший к великому, ответственному перед престолом и отечеством делу воспитания и образования русского юношества и беспорочно прослуживший на сем, можно смело выразиться священном поприще 35 лет, я, хотя и не открываю своего настоящего имени, подписываясь лишь скромным названием „Здравомыслящий“, но считаю нравственным своим долгом довести до сведения Вашего превосходительства об одном из смотрителей многочисленных учебных заведений, вверенных Вашему мудрому и глубокоопытному попечению. Я говорю о штатном смотрителе Вырвинского четырехклассного городского училища, коллежском асессоре Опимахове, причем почтительнейше осмеливаюсь задать себе вопрос: совместимым ли с высоким призванием педагога и с доверием, оказываемым ему начальством и обществом, является поведение лица, проживающего бесстыдно, в явной для всего города и противной существующим законам любовной связи с особой женского пола, числящейся, по виду на жительство, девицей, которая к тому же в городе никому не известна, не посещает храмов божиих, и точно глумясь над христианскими чувствами публики, ходит по улице с папиросами и с короткими, как бы у дьякона, волосами? Во-вторых...»

Поставив аккуратное двоеточие, Иван Вианорыч бережно положил перо на край хрустальной чернильницы и откинулся на спинку стула. Глаза его, ласково глядя поверх очков, переходили от окон с тюлевыми занавесками к угловому образу, мирно освещенному розовой лампадкой, оттуда на старенькую, купленную по случаю, но прочную мебель зеленого репса, потом на блестящий восковым глянцем пол и на мохнатый, сшитый из пестрых кусочков ковер, работы самого Ивана Вианорыча. Сколько уж раз случалось с Наседкиным, что внезапно, среди делового разговора, или очнувшись от задумчивости, или оторвавшись от письма, он испытывал тихую обновленную радость. Как будто бы он на некоторое время совсем забыл, а тут вдруг взял да и вспомнил, – про свою честную, всеми уважаемую, светлую, опрятную старость, про собственный домик с флигелем для жильцов, сколоченный тридцатью пятью годами свирепой экономии, про выслуженную полную пенсию, про кругленькие пять тысяч, отданные в верные руки, под вторую закладную, и про другие пять тысяч, лежащие пока что в банке, – наконец, про все те удобства и баловства, которые он мог бы себе позволить, но никогда не позволит из благоразумия. И теперь, вновь найдя в себе эти счастливые мысли, старик мечтательно и добродушно улыбался бритым, морщинистым, начинавшим западать ртом.

В кабинетике пахло геранями, мятным курением и чуть-чуть нафталином. На правом окне висела клетка с канарейкой. Когда Иван Вианорыч устремил на нее затуманенный, видящий и невидящий взгляд, птичка суетливо запрыгала по жердочкам, стуча лапками. Наседкин нежно и протяжно свистнул. Канарейка завертела хорошенькой хохлатой головкой, наклоняя ее вниз и набок, и пискнула вопросительно:

– Пи-и?

– Ах ты... пискунья! – сказал лукаво Иван Вианорыч и, вздохнув, опять взялся за перо.

«Во-вторых, – писал он, тихонько шепча слова, – тот же Опимахов позволяет себе пренебрегать положениями некоторых циркуляров Министерства Народного Просвещения и иными правительственными указаниями, побуждая и сам первый подавая пример подведомственным ему молодым учителям, якобы к расширению программы (sic!), а на самом деле – к возбуждению в доверчивых умах юношей превратных и гибельных идей, клонящихся к разрушению добрых нравов, к возбуждению политических страстей, к низвержению авторитета власти и, в сущности, к самому гнилому и пошлому социализму. Так, вышеназванный коллежский ассессор Мирон Степанович Опимахов находит нужным читать ученикам *лекции* (это слово Наседкин дважды густо подчеркнул, язвительно скривив рот набок) о происхождении человека от микроскопического моллюска, а учитель географии Сидорчук, неизвестно для чего, сообщает им свои извращенные личным невежеством познания о статистике и политической экономии. После этого не удивительно, что просвещаемые подобными *отличными* педагогами ученики четырехклассного городского Вырвинского училища *отличаются* буйным нравом и развращенными действиями. Так, напр., на днях у о. Михаила Трабукина, протоиерея местного собора, всеми чтимого пастыря, человека более чем святой жизни, были камнями выбиты 2 стекла в оранжерее. При встрече со старшими, почтенными в городе лицами, даже имевшими высокую честь принадлежать 35 лет к учебному ведомству, не снимают головных уборов, а, наоборот, глядя в глаза, нагло смеются, и многое, очень многое другое, что готов подробно описать Вашему превосходительству (NB: равно как и о нравах, процветающих и в других учебных заведениях), если последует милостивый ответ на сие письмо в местное почтовое отделение, до востребования, предъявителю кред. бил. 3-х-рублевого достоинства за № 070911.

Имею честь быть Вашего превосходительства всепокорнейшим слугою.  
*Здравомыслящий».*

Наседкин поставил последнюю точку и сказал вслух:

– Так-то-с, господин Опимахов!

Он встал, хотел было долго и сладко потянуться уставшим телом, но вспомнил, что в пост грех это делать, и сдержался. Быстро потеряв рукой об руку, точно при умыванье, он опять присел к столу и развернул ветхую записную книжку с побуревшими от частого употребления нижними концами страниц. Вслед за записями крахмального белья, адресами и днями именин, за графами прихода и расхода шли заметки для памяти, написанные бегло, с сокращениями в словах, но все тем же прекрасным писарским почерком.

«Кузязев намекал, что у городского казначея растрата. Проверить и сообщ. в казенную пал. NB. Говорят, Куз. корреспондирует в какую-то газету!!  
Узнать».

«Священник с. Б. Мельники, Златодеев (о. Никодим), на святки упился. Танцевал и потерял крест. Довести до свед. Его преосв. *Исполнено. Вызван для объясн. 21 февр.*».

«Не забыть о Серг. Платоныче. С нянькой».

«Учитель Опимахов. Сожительство. Лекции и пр. Сидорчук. Непочтение. Попеч. уч. округа».

Дойдя до этой заметки, Иван Вианорыч обмакнул перо и приписал сбоку: «Сообщено».

В эту книжку были занесены все скандалы, все любовные интрижки, все сплетни и слухи маленького, сонного, мещанского городишки; здесь кратко упоминалось о господах и о прислуге, о чиновниках, о купцах, офицерах и священниках, о преступлениях по службе, о том, кто за кем ухаживает (с приблизительным указанием часов свиданий), о неосторожных словах, сказанных в клубе, о пьянстве, карточной игре, наконец даже о стоимости юбок у тех дам, мужья или любовники которых жили выше средств.

Иван Вианорыч быстро пробежал глазами эти заметки, схватывая их знакомое содержание по одному слову, иногда по какому-нибудь таинственному крючку, поставленному сбоку.

– До всех доберемся, до всех, мои миленькие, – кривя губы, шептал он вслух, по старческой привычке. – Семинарист Элладов... Вы, пожалуй, подождите, господин либеральный семинарист. Драка у Харченко, Штурмер передернул... Ну, это еще рано. Но вы не беспокойтесь, придет и ваша очередь. Для всех придет правосудие, для все-ех!.. Вы думаете как: нашкодил и в кусты? Не-ет, драгоценные, есть над вашими безобразиями зоркие глаза, они, брат, все видят... Землемерша... Ага! Это самое. Пожалуйста-ка на свет божий, прекрасная, но легкомысленная землемерша.

На верху страницы стояли две строчки:

«Землемерша (Зоя Никит.) и шт. – кап. Беренгович. Землемер – тюфяк.  
Лучше сообщить капитанше».

Иван Вианорыч придвинулся поближе к столу, поправил очки, торопливо запахнул свой ватный халатик с желтыми разводами и виде вопросительных знаков и принялся за новое письмо. Он писал прямо начисто, почти не обдумывая фраз. От долгой практики у него выработался особый стиль анонимных писем или, вернее, несколько разных стилей, так как обращение к начальствующим лицам требовало одних оборотов речи, к обманутым мужьям других, на купцов действовал слог высокий и витиеватый, а духовным особам были необходимы цитаты из творений отцов церкви.

«Милостивая Государыня, Мадам Беренгович!

Не имея отличного удовольствия знать Вас близко, боюсь, что сочтете мое письмо к Вам за невежество. Но долг порядочности и человеколюбия повелевает мне скорее нарушить правила приличия, нежели молчать о том, что стало уже давно смехотворной сказкой города, но о чем Вы, как и всякая обманутая жертва, узнаете – увы! – последняя. Да, несчастная! Муж твой, недостойный своего высокого звания защитника Отечества, обманывает тебя самым наглым и бессердечным образом с той, которую ты отогрела на своей груди, подобно крестьянину в известной басне великого Крылова!!!

Советую Вам узнать стороной, когда именно соберется в уезд некий хорошо знакомый вам землемер, и в тот же вечер, так часов около 9-ти, нанесите прелестной Зое визит, чем, конечно, доставите ей весьма приятный сюрприз, который будет тем приятнее, чем он будет неожиданнее. Ручаюсь – ничто не помешает вам: супруга Вашего, господина Штабс-Капитана, в этот вечер *наверно* не будет дома (его отзовут в полк по делам службы или, скажем, к больному товарищу). А для того чтобы еще больше обрадовать обольстительнейшую Зою, рекомендую Вам пройти не через парадный ход, а через кухню, и как можно быстрее. Если Вы встретите на кухне горничную,

помните, что ее зовут Аришей и что рубль вообще производит магическое действие».

Низкий, одинокий удар колокола тяжелой волной задрожал в воздухе, густо и широко влившись в комнату. Иван Вианорыч привстал, перекрестился, сурово прикрыв на секунду глаза, но тотчас же сел и продолжал писать, несколько торопливее, чем раньше:

«К самому г. землемеру я бы Вам посоветовал лучше не обращаться. Кажется, этому индивиду решительно безразлично, что его супруга, подобно древней Мессалине, прославилась не только на весь уезд, но и на всю губернию своим поведением. Вас же я знаю за даму с твердыми и честными правилами, которые, во всяком случае, не позволят Вам хладнокровно переносить свой позор. Простите, что по некоторым причинам не открываю своего имени, а остаюсь глубоко сострадающий вашему горю *Доброжелатель*».

В полуоткрытую дверь просунулся сначала голый костлявый локоть, а потом и голова старой кухарки.

– Барин, к ефимонам звонют...

– Слышу, Фекла, не глухой, – отозвался Наседкин, поспешно заклеивая конверт. – Дай мне старый сюртук и приготовь шубу.

– Шубу скунсовую?

– Нет, ту, другую, с капюшоном.

Прежде чем выйти из дому, Наседкин, по обыкновению, помолился на свой образ.

– Боже, милостив буди мне, грешному! – шептал он, умильно покачивая склоненной набок головой и крепко надавливая пальцами на лоб, на живот и плечи. И в то же время мысленно, по давней привычке делать все не торопясь и сознательно, он напоминал самому себе:

«Письма лежат в шубе, в боковом кармане. Не забыть про почтовый ящик».

Над городом плыл грустный, тягучий великопостный звон. Банн... банн... – печально и важно, густым голосом, с большими промежутками, выпевал огромный соборный колокол, и после каждого удара долго разливались и таяли в воздухе упругие трепещущие волны. Ему отзывались другие колокольни: сипло, точно простуженный архиерейский бас, вякал надтреснутый колокол у Никиты Мученика; глухим, коротким, беззвучным рыданием отвечали с Николы на Выселках, а в женском монастыре за речкой знаменитый «серебряный» колокол стонал и плакался высокой, чистой, певучей нотой.

Был конец зимы. Санний путь испортился. Широкая улица, вся исполосованная мокрыми темными колеями, из белой стала грязно-желтой. В глубоких ухабах, пробитых ломовыми, стояла вода, а в палисадничке, перед домом Наседкина, высокий сугроб снега осел, обрыхлел, сделался ноздреватым и покрылся сверху серым налетом. Заборы размякли от сырости.

В городском саду, на деревьях, – там, где среди голых верхушек торчали пустые гнезда, без умолку кричали и гомозились галки. Они отлетали и тотчас же возвращались, качались на тонких ветках, неуклюже взмахивая крыльями, или черными тяжелыми комками падали сверху вниз. И все это – и птичья суета, и рыхлый снег, и печальный, задумчивый перезвон колоколов, и запах оттаивающей земли – все говорило о близости весны, все было полно грустного и сладостного, необъяснимого весеннего очарования.

Иван Вианорыч степенно двигался по деревянному тротуару, часто и внушительно постукивая большими кожаными калошами. На Дворянской его обогнал десяток гимназистов разного возраста. Они шли парами, громко смеясь и сталкивая друг друга с помоста в снег. Сзади

шагал долговязый молодой учитель в синих очках, с козлиной черной бородкой; в зубах у него была папироса. Проходя мимо Наседкина, учитель поглядел ему прямо в лицо тем открытым, дружеским взглядом, которым так славно смотрят весной очень молодые люди.

«И это называется идти в храм, да еще в такие дни! – с горечью и укоризной подумал Иван Вианорыч. – И это учитель, педагог! Развращенный вид, папироса во рту! Кажется, его фамилия Добросердов?.. Нечего сказать, хорош... Буду иметь его в виду, на всякий случай».

По широким ступеням соборной лестницы тихо подымались темные фигуры мужчин и женщин. Не было обычной около церкви суматохи и нетерпеливого раздражения. Люди шли робко, точно утомленные, придавленные своими грехами, уступая друг другу дорогу, сторонясь и выжидая очереди.

Собор внутри был полон таинственной, тяжелой тьмы, благодаря которой стрельчатые узкие окна казались синими, а купол уходил бесконечно в вышину. Пять-шесть свечей горело перед иконами алтаря, не освещая черных старинных ликов и лишь чуть поблескивая на ризах и на острых концах золотых сияний. Пахло ладаном, свечной гарью и еще той особенной холодной, подвальной сыростью древнего храма, которая всегда напоминает о смерти.

Народу было много, но тесноты не чувствовалось. Говорили шепотом и точно с боязнью, кашляли осторожно, и каждый звук гулко и широко отдавался под огромными каменными сводами. На левом клиросе молодой лабазник Бардыгин читал часы громким и таким ненатуральным, задавленным голосом, как будто в горле у него застряла корка черного хлеба. Щеголяя мастерством быстрого чтения, он выкрикивал одним духом столько текста, сколько мог, причем сливал все слова, целые предложения, даже новые строчки в одно длинное, в сотню слогов, непонятное слово. Изредка он останавливался на секунду, чтобы набрать в грудь воздуха, и тогда начальное слово следующей фразы он произносил с большой растяжкой, театрально удваивая согласные звуки, и лишь после этого, точно приобретя необходимый ему размах, с разбегу сыпал частой дробью непонятных звуков, «Ак-кискимен, обитаяй в тайных...», «Ик-кам-мень его прибежище заяцам тра-та-та-та...» вырывалось отдельными восклицаниями.

Иван Вианорыч подошел к свечному прилавку. Церковный староста благообразный тучный старик, весь точно серебряный от чисто вымытых, картинно расчесанных седин – звякал среди напряженной тишины медяками, укладывая их в стопочки.

– Михал Михалычу! – сказал Наседкин, протягивая через прилавок руку.

– А! Иван Вианорыч! – сдержанным ласковым баском ответил староста. Все ли в добром здоровычке? А мне, того, как его... надо с вами поговорить о чем-то, – прибавил он, понижая голос и заслоняясь ладонью от свечки, чтобы лучше разглядеть из темноты лицо Наседкина. – Ты, отец, подожди меня малость после ефимонов... Ладно?

– Отчего ж... Я подожду.

Степенно шаркая калошами по плитяному полу, Иван Вианорыч пробрался на свое обычное место, за правым клиросом у образа Всех Святителей, которое он, по праву давности и почета, занимал уже девятый год. Там стоял, сложив руки на животе и тяжело вздыхая, рослый бородатый мужик в белом дубленом тулупе, пахнувшем бараном и терпкой кислятиной. Со строгим видом, пожевав губами, Иван Вианорыч брезгливо тронул его за рукав.

– Ты что же это, любезный, распространился? Видишь – чужое место, а лезешь, – сказал он сурово.

Мужик низко поклонился и с покорной суетливостью затоптался в сторону.

– Прости, батюшка, прости, Христа ради.

– Бог простит, – сухо ответил старик.

На клиросе задвигался желтый огонек свечки, от него робко вспыхнул другой, третий. Теплые огненные язычки, постепенно рождаясь в темноте, перешли снизу вверх, и невидимая до сих пор певческая капелла ясно и весело озарилась светом среди скорбной темноты, наполнявшей церковь. Лица дискантов, освещаемые снизу, с блестящими точками в глазах, с мяг-



кими контурами щек и подбородков, стали похожи на личики тех мурильевских херувимов, которые поют у ног мадонны, держа развернутые ноты. У стоявших сзади мужчин из-за темных усов бело и молодо сверкали зубы. Басы мощно откашливались, рыча в глубине хора, как огромные, добродушные звери.

Пронесся тонкий, жужжащий звук камертона. Регент, любимец и баловень купечества, лысый, маленький и толстый мужчина, в длинном сюртуке, более широкий в заду, чем в плечах, топким голосом, бережно, точно сообщая хору какую-то нежную тайну, задал тон. Толпа зашевелилась, протяжно вздохнула и стихла.

– Помощник и покровитель бысть мне во спасение! – с чувством прошептал Наседкин, опережая певчих, хорошо знакомые ему слова ирмоса.

Стройные, печальные звуки полились с клироса, но прежде, чем преодолеть огромную пустоту купола, оттолкнулись от каменных стен, и в первые мгновения казалось, будто во всех уголках темного храма запело, вступая один за другим, несколько хоров.

Из алтаря вышел, шуря на народ голубые близорукие глаза, второй соборный священник, о. Евгений – маленький, чистенький старичок, похожий лицом на Николая-угодника, как его пишут на образах. Он был в одной траурной епитрахили поверх черной рясы, и эта простота церковной одежды, и слабая, утомленная походка священника, и его прищуренные глаза трогательно шли к покаянному настроению толпы и к тишине и к темноте собора.

Певчие замолчали, и вслед за ними замолкли один за другим невидимые хоры в углах и в куполе. Тихим, слегка вздрагивающим, умоляющим голосом, так странно не похожим своей естественностью на обычные церковные возгласы, священник проговорил первые слова великого канона:

– Откуда начну плаката окаянного моего жития деяний? Кое положу начало, Христе, нынешнему рыданию?..

– Помилуй мя, боже, помилуй мя! – скорбно заплакал хор.

«Нынешнему рыданию! – повторил мысленно Иван Вианорыч, почувствовав в затылке у себя холодную волну. – Какие слова!..»

Воображение вдруг нарисовало ему древнего, согбенного годами, благодушного схимника. Вот он пришел в свою убогую келью, поздним вечером, после утомительной службы, едва держась на больных ногах, принеся в складках своей одежды, украшенной знаками смерти, запах ладана и воска. Молчание, полумрак... слабо дрожит огонек свечи перед темными образами... на полу, вместо ложа, раскрытый гроб... Со стоном боли становится отшельник на израненные, натруженные колени. Впереди целая ночь молитвы, страстных вздохов, горьких и сладостных рыданий, сотрясающих хилое тело. И, уже предчувствуя близость блаженных слез, старец перебирает в уме всю свою невинную, омытую ежедневным плачем жизнь и ждет вдохновения молитвы. «Откуда начну плаката!»...

«Нет! Уйду в монастырь, на покой! – вдруг решил растроганный Иван Вианорыч. – Дом, проценты... Зачем все это?»

– Осквернив плоти моя ризу и окалях, еже по образу, спасе, и по подобию, – читал священник.

«Уйду. Вот возьму и уйду. Там тишина, благолепие, смирение, а здесь... о господи!.. Ненавидят друг друга, клеветают, интригуют... Ну, положим, я свою каплю добра несу на пользу общую: кого надо, остерегу, предупрежу, открою глаза, наставлю на путь. Да ведь и о себе надо подумать когда-нибудь, смерть-то – она не ждет, и о своей душе надо порадеть, вот что!»

Около Наседкина зашелестело шелком женское платье. Высокая дама в простом черном костюме прошла вперед, к самому клиросу, и стала в глубокой нише, слившись с ее темнотой. Но на мгновение Иван Вианорыч успел разглядеть прекрасное белое лицо и большие печальные глаза под тонкими бровями.

Всеми городу, – а Ивану Вианорычу больше других, – была известна трагическая история этой женщины. Ее выдали из бедной купеческой семьи замуж за местного миллионера-лесопромышленника Щербачева, вдовца, человека старше ее лет на сорок, про которого говорили, что он побоями вогнал в гроб двух своих первых жен. Несмотря на то что Щербачеву подошло уже под шестьдесят, он был необычайно крепок здоровьем и так силен физически, что во время своих обычных безобразных запоев разбивал кулаком мраморные столики в ресторанах и один выворачивал уличные фонари. Однажды, собравшись в дальний уезд по делам, он неожиданно вернулся с дороги домой и застал жену в своей спальне с красавцем приказчиком. Говорили, что он был заранее предупрежден анонимным письмом. Приказчика он не тронул, велел ему только ползти на четвереньках через все комнаты до выходной двери. Но над женой он вдоволь натешил свою звериную, хамскую душу. Свалив ее с ног кулаками, он до усталости бил ее огромными коваными сапожищами, потом созвал всю мужскую прислугу, приказал раздеть жену догола, и сам, поочередно с кучером, стегал кнутом ее прекрасное тело, обратив его под конец в сплошной кусок кровавого мяса.

С тех пор прошло два года. Сильная натура молодой женщины каким-то чудом выдержала это истязание, но душа сломилась и стала рабской. Жена Щербачева отказалась от людей, никуда не ездила и никого у себя не принимала. Лишь изредка появлялась она в церкви, вызывая шепот мещанского любопытства между городскими сплетниками. Рассказывали, что Щербачев после той ужасной ночи не сказал более с женой ни одного слова, а если уезжал куда-нибудь, то запирали ее на ключ и приказывали ложиться на ночь у ее дверей дворником.

– «Бог-то все заранее расчислил! – набожно и злорадно думал Наседкин, косясь на степную нишу, в которой едва темнела высокая женская фигура. Кабы не нашлись вовремя добрые люди, ты бы и теперь, вместо молитвы и воздыхания сердечного, хвосты бы с кем-нибудь трепала. А так-то оно лучше, по-хорошему, по-христиански... О господи, прости мои согрешения... Ничего, помолись, матушка. Молитва-то – она сердце умягчает и от зла отгоняет...»

– Слезы блудницы, Щедре, и аз предлагаю: очисти мя, спасе, благоутробием твоим! – кротким, старчески простым голосом выговаривал маленький священник.

– Помилуй мя, боже! – глубоким стоном сокрушения ответил ему хор.

Плечи Щербачевой вдруг затряслись. Закрыв лицо ладонями, она быстро опустила на колени, точно упала.

«И я тоже, и я, господи! Слезы блудницы предлагаю!» – со смиренным самоунижением подумал Иван Вианорыч. Но смирение его было легкое, приятное. Глубоко в душе он знал про самого себя, что жизнь его чиста и дела беспорочны, что он честно прослужил тридцать пять лет своему отечеству, что он строго блюдет посты и обличает беззаконие. Не осмеливаясь выпускать этих самолюбивых мыслей на поверхность сознания, притворяясь перед самим собой, что их вовсе нет в его сердце, он все-таки с гордостью верил, что ему уготовано в будущей жизни теплое, радостное место, вроде того, которое ему общий почет и собственные заслуги отвели в церкви, под образом Всех Святителей.

Слезы стояли у него в груди, щипали глаза, но не шли. Тогда, пристально смотря на огонь свечи, он стал напрягать горло, как при зевоте, и часто дышать, и наконец они потекли сами – обильные, благодатные, освежающие слезы...

Служение кончилось. Народ медленно, в молчании расходился. Отец Евгений вышел из алтаря, с трудом передвигая ревматическими ногами, и, узнав Наседкина, ласково кивнул ему головой. Прошла робко, неуверенной походкой, странно не идущей к ее роскошной фигуре, купчиха Щербачева... Иван Вианорыч вышел последним, вместе с церковным старостой.

– Чудесно читает ефимоны отец Евгений, – сказал, спускаясь по ступенькам, староста. – До того вразумительно. Так всю тебе душу и пробирает.

– Отлично читает, – согласился Наседкин. – Про какое дело-то вы хотели, Михал Михалыч?

– Дело такое, отец: что есть у вас сейчас, того, как его... свободные деньги?

– Ну?

– А ты не запряг, так и не погоняй. Спрашиваю, есть деньги?

– Много ли?

– Пустое... Тысячи три, а то лучше четыре.

– Ну, скажем, есть, – недоверчиво произнес Иван Вианорыч. – Ты про дело-то говори: кому надо?

– Чудак человек. Не веришь ты мне, что ли? Того, как его... уж, если я говорю, стало быть, дело верное. Я бы тебя не стал звать, кабы располагал сейчас наличными. Апрянина надоть выручить, ему платежи подходят, а по векселям задержка.

– Так, – задумчиво произнес Наседкин. – Из скольких процентов?

Михаил Михайлович фыркнул носом и, слегка навалившись на спутника, проказливо толкнул его локтем в бок.

– Ах ты... мастер Иоганн Кнастер! Сказал тебе, будь без сомнения, и шабаш. За полгода двести на тыщу хватит с тебя? Ну и... того, как его... нечего разговаривать. Прощай, что ли. Мне направо. Зайди завтра утречком, обговорим.

– Ладно, приду, – вздохнул Иван Вианорыч. – Прощайте, Михал Михалыч.

– Наилучшего, Иван Вианорыч.

Они разошлись. Наседкин шел по деревянным мосткам, постукивая кожаными калошами, и все время вздыхал, с наружным сокрушением, и внутренним довольством. От его шубы еще пахло мирным запахом церкви, спина приятно, расслабленно ныла после долгого стояния, и в душе у него была такая же тихая, сладкая истома.

Маленький захолустный городишко уже спал. Не было прохожих на улице. Где-то недалеко за забором лаяла лениво, от нечего делать, собака. Сгущались прозрачные, зеленые, апрельские сумерки; небо на западе было нежно-зеленое, и в голых ветках деревьев уже чувствовался могучий темно-зеленый весенний тон.

Вдали показался дом Наседкина. Лампа внутри не была зажжена, но тюлевые занавеси на окнах чуть-чуть розовели от сияния лампадки.

«Слезы блудницы и аз предлагаю!» – с умилением вспомнил Иван Вианорыч.

– Ворона! – перебил он вдруг себя. – Пропустил почтовый ящик.

Он вернулся назад, чтобы опустить письма. Услышав, как они стукнулись о железное дно ящика, он еще плотнее запахнул теплую шубу и пошел дальше. И для того чтобы опять вернуться к прежним отрадным мыслям о доме, о процентах, о сладости молитв, о людских грехах и о своей чистоте, он еще раз с чувством прошептал, растроганно покачивая головой:

– Слезы блудницы и аз предлагаю...